

Михаил  
Булгаков

# НАЛЕТ

(В волшебном фонаре)

## РАССКАЗ

**Р**азорвало черную кашу метели ко-  
сым бледным огнем, и сразу из  
тучи вывалились длинные, темные лошадиные морды.

Храп. Потом ударило огнем второй раз. Абрам упал в глубокий снег под натиском бесформенной морды и страшной лошадиной груди, покатился, не выпустив винтовки из рук... Стоптаный и смятый, поднялся в жемчужных, рассыпавшихся мухами, столбах.

Холода он не почувствовал. Наоборот, по всему телу прошел очень сухой жар, и жар этот уступил место поту до ступней ног. Тогда же Абрам почувствовал, что это обозначает смертельный страх.

Вьюга и он, жаркий страх, залепили ему глаза, так что несколько мгновений он совсем ничего не видел. Черным и холодным косо мело, и проплыли перед глазами огненные кольца.

— Тильки стрельни... стрельни, сучья кровь, — сказал сверху голос, и Абрам понял, что это — голос с лошади.

Тогда он вспомнил почему-то огонь в черной печечке, недописанную акварель на стене — зимний день, дом, чай и тепло. Понял, что случилось именно то нелепое и страшное, что мерещилось, когда Абрам, пугливо и настороженно стоя на посту, представлял себе, глядя в вертящуюся метель. Стрельни? О нет, стрелять он не думал. Абрам уронил винтовку в снег и судорожно вздохнул. Стрелять было бесполезно, морды коней торчали в поредевшем столбе метели, чернела недалеко сторожевая будка, и серой кучей тряпья казались сваленные в груды щиты. Совсем близко показался темный, бесформенный второй часовой Стрельцов в остром башлыке, а третий, Щукин, пропал.

— Якого полку? — силло спросил голос.

Абрам вздохнул, взвел глаза кверху, стремясь, вероятно, глянуть на минутку на небо, но сверху сыпало черным и холодным, винт свивался ввысь — неба там не было никакого.

— Ну, ты мне заговоришь! — сказало тоже с выскоты, но с другой стороны, и Абрам чутко тотчас услышал сквозь гудение вьюги большую сдержанную злобу. Абрам не успел заслониться. Черное и твердое мелькнуло перед лицом, как птица, затем яростная, обжигающая боль раздробила ему челюсти, мозг и зубы, и показалось, что в огне треснула вся голова.

— А... А-га-а,— судорожно выговорил Абрам, крутя костяной кашей во рту и давясь соленой кровью.

Тут же мгновенно вспыхнул Стрельцов бледно-голубым и растерзанным в конусе электрического фонарика, и еще совершенно явственно обозначился третий часовой Щукин, лежавший свернувшись в сугробе.

— Якого?! — визгнула метель.

Абрам, зная, что второй удар будет еще страшнее первого, задохнувшись, ответил:

— Караульного полка.

Стрельцов погас, потом вновь вспыхнул.

Мушки метели неслись беззлобным роем, прыгали, кувыркались в ярком конусе света.

— Тю! Жида взяли! — резнул голос в темноте за фонарем, а фонарь повернулся, потушил Стрельцова и в самые глаза Абраму впился большим выпуклым глазом. Зрачок в нем сверкал. Абрам увидал кровь на своих руках, ногу в стремях и черное острое дуло из деревянной кобуры.

— Жид, жид! — радостно пробурчал ураган за спиной.

— И другой? — жадно откликнулся бас.

Слышало только левое ухо Абрама, правое было мертво, как мертвы щека и мозг. Рукой Абрам вытер липкую густую кровь с губ, причем огненная боль прошла по левой щеке в грудь и сердце. Фонарь погасил половину Абрама, а всего Стрельцова показал в кругу света. Рука с седла сбила папаху с головы Стрельцова, и прядь волос на нем стала дыбом. Стрельцов качнул головой, открыл рот и неожиданно сказал слабо в порохе метели:

— У-у, бандитье. Язви вашу душу.

Свет прыгнул вверх, потом в ноги Абраму. Глухо ударили Стрельцова. Затем опять наехала морда.

Оба — Абрам и Стрельцов — стояли рядом у высокой груды щитов все в том же голубоватом сиянии фонарика, а в упор перед ними металась, спешиваясь, люди в серых шинелях. В конус попадала то винтовка с рукой, то красный хвост с галуном и кистью на папаче, то брэнчащий, зажеванный, в беловатой пенке мундштук.

Светились два огня — белый на станции, холодный и высокий, и низенький, похороненный в снегу, на той стороне, за полотном. Мело все реже, все жиже и не гудело и не шарахало, высыпая в лицо и за шею сухие, холодные тучи, летела ровно и плавно в конусе слабеющая метель.

Стрельцов стоял с лицом, залепленным красной маской, — его били долго и тяжело за дерзость, размолив всю голову. От ударов он остервенел, стал совершенно нечувствительным и, глядя одним глазом зрячим и ненавистным, а другим незрячим, багровым, опираясь вывернутыми руками на штабель, сия и харкая кровью, говорил:

— Ух... бандитье... У, мать вашу... Всех половят, всех расстреляют — всех...

Иногда вскакивала в конус фигура с черным костлявым пистолетом в руке и была рукояткою Стрельцова. Он тогда ослабевал, рычал, и ноги его отползали от штабеля, и удерживался он только руками.

— Скорийше!

— Скорей!

Со стороны высокого белого станционного огня донесся веером залп и пропал.

— Ну, бей, бей же, скорей! — сишло вскрикивал Стрельцов. — Нечего людей мучить зря.

Стрельцов стоял в одной рубахе и желтых стеганых штанах; шинели и сапог на нем не было, и размотавшиеся пятнистые портянки ползли за ним, когда отползали ноги от щитов. Абрам же был в своей гадкой шинели и в валенках. Никто на них не польстился, и золотистая солома мирно глядела из правого разорванного носка так же, как и всегда.

Лицо у Абрама было никем никогда не виданное.

— Жид смеется! — удивилась тьма за конусом.

— Он мне посмеется, — ответил бас.

У Абрама сами собой, нещекотно и небольно, вытекали из глаз слезы, а рот был разодран, словно он улыбнулся чему-то да так и остался. Расстегнутая шинель распахнулась, и руками он почему-то держался за канты своих черных штанов, молчал и смотрел на выпуклый глаз с ослепляющим зрачком.

«Так вот все и кончилось, — думал он, — как я и полагал. Акварели не увижу ни в коем случае больше, ни огня. И ничего не случится, нечего ждать — конец».

— А ну, — предостерегла тьма. Сдвинулся конус, глаз перешел влево, и прямо в темноте, против часовых, в дырочках винтовок притаился этот самый черный конец. Тут Абрам разом ослабел и стал сползать — ноги поехали. Поэтому сверкнувшего конца он совсем не почувствовал.

Винтом унесло метель по полотну, и в час все изменилось. Перестало сыпать сверху и с боков. Далеко над снежными полями разорвало тучи, их сносило, и в прорези временами выглядывал край венца на золотой луне. Тогда на поле ложился жидко-молочный коварный отсвет, и рельсы струились вдаль, а груда щитов становилась черной и уродливой. Высокий огонь на станции слабел, а желтоватый, низенький был неизменен. Его первым увидел Абрам, приподняв веки, и очень долго, как прикованный, смотрел на него. Огонь был неизменен, но веки Абрама то открывались, то закрывались, и поэтому чудилось, что тот огонь мигает и шурится.

Мысли у Абрама были странные, тяжелые, необъяснимые и вялые — о том, почему он не сошел с ума, об удивительном чуде и о желтом огне...

Ноги он волочил, как перебитые, работал локтями по снегу, тянул простреленную грудь и полз к Стрельцову очень долго: минут пять — пять шагов. Когда дополз, рукой оцупал его, убедился, что Стрельцов холодный, занесенный снегом, и стал отползать. Стал на колени, потом покачался, напрягся и встал на ноги, зажал грудь обеими руками. Прошел немного, свалился и опять пополз к полотну, никогда не теряя из виду желтый огонь.

— Кто же это? Господи, кто? — женщина спросила

в испуге, цепляясь за скобку двери.— Одна я, ей-богу, ребенок больной. Идите себе на станцию, идите.

— Пусти меня, пусти. Я ранен,— настойчиво повторил Абрам, но голос его был сух, тонок и певуч. Руками он хватался за дверь, но рука не слушалась и соскакивала, и Абрам больше всего боялся, что женщина закроет дверь.

— Ранен я, слышите,— повторил он.

— Ой, лишечко,— ответила женщина и приоткрыла дверь.

Абрам на коленях вполз в черные сенцы. У женщины провалились в кругах глаза, и она смотрела на ползущего, а Абрам смотрел вперед на желтый огонь и видел его совсем близко. Он шипел в трехлинейной лампочке.

Вполне ночь расцвела уже под самое утро. Студеная и вся усеянная звездами. Крестами, кустами, квадратами, звезды сидели над погребенной землей и в самой высшей точке, и далеко за молчащими лесами, на горизонте. Холод, мороз и радужный венец на скло-не неба, у луны.

В сторожке у полотна был душный жар, и огонек, по-прежнему неутомимый и желтый, горел скупо, с шипеньем.

Сторожиха бессонно сидела на лавке у стола, глядела мимо огня на печь, где под грудой тряпья и ба-раньим тулупом с сипением жило тело Абрама.

Жар ходил волнами от мозга к ногам, потом возвращался в грудь и стремился задуть ледяную свечку, сидящую в сердце. Она ритмически сжималась и расширялась, отсчитывая секунды, и выбивала их ровно и тихо. Абрам свечки не слышал, он слышал ровное шипение огня в трехлинейном стекле, причем ему казалось, что огонь живет в его голове, и этому огню Абрам рассказывал про винт метели, про дробящую боль в скулах и мозгу, про Стрельцова, занесенного снегом. Абрам хотел Стрельцова вынуть из сугроба и вытащить на печь, но тот был тяжелый и трудный, как вбитый в землю кол. Абрам хотел мучительный желтый огонь в мозгу вынуть и выбросить, но огонь упорно сидел и выжигал все, что было внутри оглош-шей головы. Ледяная стрелка в сердце делала пере-бой, и часы жизни начинали идти странным образом

наоборот, холод вместо жара шел от головы к ногам, свечка перемещалась в голову, а желтый огонь в сердце, и сломанное тело Абрама колотило мелкой дрожью в терции, вперебой и нелад со стуком жизни, и уже мало было бараньего меха, и хотелось доверху заложить мехами всю сторожку, съежиться и лечь на раскаленные кирпичи.

Прошли годы. И случилось столь же радостное, сколь и неестественное событие: в клуб привезли дрова. Конечно, они были сырые, но и сырые дрова загораются — загорелись и эти. Устье печки изрыгало уродливых огненных чертей, жар выплывал и танцевал на засохшей елочной гирлянде, на лентах портрета, выхватывая край бороды, на полу и на лице Брони. Броня сидела на корточках у самого устья, глядела в пламя, охватив колени руками, и бурочные мохнатые сапоги торчали носами и нагревались от огненного черта. Голова Брони была маково-красной от неизменной повязки, стянутой в лихой узел.

Остальные сидели на дырявых стульях полукругом и слушали, как повествовал Грузный. Як басом рассказал про атаки, про студеные ночи, про жгучую войну. Получилось так, что Як был храбрый и неунывающий человек. И действительно он был храбрый. Когда он кончил — плюнул в серое, перетянутое в талии ведро и выпустил клуб паршивого дыма от гнилого, дешевого табаку.

— Теперь Абрам, — сказала Броня, — суций профессор. Он тоже может рассказать что-нибудь интересненькое. Ваша очередь, Абрам, — она говорила с запинкой, потому что Абрам, единственный недавний приезжий человек, получал от нее в разговоре «вы».

Маленький, взъерошенный, как воробей, вылез из заднего ряда и попал в пламя во всей своей красоте. На нем была куртка на вате, как некогда носили лабазники, и замечательные, на всем рабфаке и вряд ли в целом мире не единственные штаны: коричневые, со странным зеленоватым отливом, широкие вверху и узкие внизу. Правое ухо башмака они почему-то никогда не закрывали и покоились сверху, позволяя каждому видеть полосу серого Абрамова чулка.

Обладатель брюк был глух и поэтому, на лице всегда сохраняя вежливую конфузливую улыбку, в нуж-

ных случаях руку щитком прикладывал к левому уху.

— Ваша очередь, Абрам,— распорядилась Броня громко, как все говорили с ним,— вы, вероятно, не воевали, так вы расскажите что-нибудь вообще...

Взъерошенный воробей поглядел в печь и, сдерживая голос, чтобы не говорить громче, чем надо, стал рассказывать. В конце концов он увлекся и, обращаясь к пламени и к маковой Брониной повязке, рассказывал страстно. Он хотел вложить в рассказ все: и винт метели, и внезапные лошадиные морды, и какой бывает бесформенный страшный страх, когда умираешь, а надежды нет. Говорил в третьем лице про двух часовых караульного полка, говорил, жалостливо поднимая брови, как недострелили одного из них и он пополз прямо все время на желтый огонь, про бабу-сторожиху, про госпиталь, в котором врач ручался, что часовой ни за что не выживет, и как этот часовой выжил... Абрам левую руку держал в кармане куртки, а правой указывал в печь на огонь, как будто бы там огонь и рисовал ему эту картину. Когда кончил, то посмотрел в печку с ужасом и сказал:

— Вот как...

Все помолчали.

Як снисходительно посмотрел на коричневые штаны и сказал:

— Бывало... Отчего ж... Это бывало на Украине. А это с кем произошло?

Воробей помолчал и ответил стыдливо:

— Это со мной произошло.

Потом помолчал и добавил:

— Ну, я пойду в библиотеку.

И ушел, по своему обыкновению прихрамывая.

Все головы повернулись ему вслед, и все долго смотрели не отрываясь на коричневые штаны, пока ноги Абрама не пересекли весь большой зал и не скрылись в дверях.

---

Рассказ «Налет» был опубликован в газете «Гудок» 25 декабря 1923 года. Подписан инициалами М. Б. Не переиздавался.

В центре рассказа — двое красноармейцев караульного полка, пост, захваченный в плен и расстрелянный налетевшим внезапно из метельной ночи конным отрядом не то петлюровцев, не то просто бандитов.

Название красноармейского полка — не случайность. Летом

1919 года вот так — в ночь после героических и победных босв — был окружен бандой Зеленого и трагически погиб почти полностью Киевский 2-й караульный полк, в основном состоявший из комсомольцев-добровольцев. Летом 1919 года Булгаков жил в Киеве, и события эти были ему очень хорошо известны.

Но в рассказе разбит не полк, а маленький красноармейский пост на железной дороге, и действие рассказа происходит не летом, а зимой — надо думать, зимой 1918/19 года, как и действие романа «Белая гвардия».

Рассказ «Налет» — едва ли не единственный художественно зримый след самых ранних редакций романа, когда роман уже назывался так: «Белая гвардия», но не был еще романом о Турбиных. По крайней мере, дом Турбиных, семья Турбиных доминирующего места в нем еще не занимали. На исходе 1923 года, когда роман «летел к концу», Булгаков, по-видимому, сдал в печать страницы уже отвергнутых им ранних редакций. Превращая эти страницы в рассказ, написал концовку-обрамление и снабдил подзаголовком.

И образы, и лексика этого рассказа теснейше связаны с романом «Белая гвардия», связаны своеобразно — как бы предчувствием образов и лексики романа. Ряд явных словесных совпадений, совпадений в деталях с сильнейшей картиной романа «Белая гвардия»: картиной охоты на человека на улицах Города. И ранение (в верхнюю часть левой руки — у Турбина; в левую верхнюю часть груди — у героя «Налета»), чудо спасения и эта дверь, сквозь которую из последних сил втягивается тяжелораненый в спасительный дом. И женщина... В «Белой гвардии» Турбина спасает совсем другая женщина. Но поза ее у постели тяжелораненого — та же. И тот же эпитет: «бессонный». Когда Турбин «открыл глаза, тихонько, чтобы не вспугнуть сидящую возле него, он увидел прежнюю картину: ровно, слабо горела лампочка под красным абажуром, разливая мирный свет, и профиль женщины был бессонный близ него. По-детски печально оттопырив губы, она смотрела в окно... И величественный пейзаж — ночное, зимнее небо, «расцветавшее» в тишине после злодейства, и звезды, «крестами, кустами и квадратами» зажигающиеся над снежной землей, — те же в рассказе «Налет» и в романе «Белая гвардия».

Есть и другого порядка нить, связывающая этот ранний рассказ с романом: героически погибший в рассказе Стрельцов в дальнейшем, мне кажется, из творчества Булгакова не ушел бесследно, и в романе «Белая гвардия» остался жив.

Он узнается в неназванном по имени, но запоминающемся персонаже романа: над кипящей толпой, посреди парада петлюровских войск, высоко на замерзшем фонтане стоит человек и вдохновенно, сначала слабо, а потом крепнущим, ясным голосом бросает в толпу большевистские лозунги, здравицу красному знамени и Советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, а затем исчезает в водовороте толпы. Может быть, «светлая прядь волос» из-под папахи (в рассказе: «Рука с седла сбила папаху с головы Стрельцова, и прядь волос на нем стала дыбом») или ремарка: «слабо выкрикнул» (в рассказе: «сказал слабо в порохе метели: „У-у, бандиты. Язви вашу душу“»), а может быть, просто его словечко «Ух!», в рассказе полное ненависти, в романе веселое, выдают в нем уже знакомого нам героя.

**Публикация и послесловие Л. Яновской**